

Кристина Соль



Телохранитель для янычара

18+

Кристина Соль

Телохранитель для янычара

<https://litres.ru/74468032>

SelfPub; 2026

Аннотация

Телохранитель Анна Морозини погибла при исполнении: закрыла клиента от пуль на мокром асфальте Милана.

А очнулась в переулке Алеппо, в тысяча пятьсот сорок третьем году, рядом со свежим трупом, с паспортом в кармане и мёртвым телефоном, который здесь считают колдовским камнем.

У неё нет ни имени, ни языка, ни денег. Есть только восемь лет работы телохранителем — и это единственное, что стоит здесь дороже золота. Она нанимается охранять караван, идущий в Стамбул, и на второй день пути находит отравленного.

В караване работает убийца. Его не видит никто, кроме неё. А единственный человек, который ей поверил, — молчаливый торговец шерстью, у которого спина в шрамах, выправка солдата и знак янычарской орты на предплечье.

Он не тот, за кого себя выдаёт. Она — тем более.

У них шесть недель дороги, чтобы понять, кто убивает людей в караване. И вся оставшаяся жизнь на то, чтобы решить, что делать со знанием, которое есть только у неё: она помнит, чем всё это кончится.

Кристина Соль

Телохранитель

для янычара

Глава 1. Алеппо

Клиент вышел из ресторана на две минуты раньше условленного, и это решило всё.

Я стояла у левого крыла машины, водитель уже завёл двигатель, и по регламенту мне полагалось быть у двери за сорок секунд до его выхода. Сорока секунд у меня не было. Он появился под козырьком, застёгивая пиджак на ходу, довольный собой после ужина, за которым, судя по лицу, договорился о чём-то выгодном. За его спиной в дверях толпились двое партнёров и метрдотель.

Улица была мокрая после дневного дождя. Милан в конце октября пахнет мокрым камнем и выхлопом, и этот запах я знала лучше, чем запах собственной квартиры. Фонари отражались в асфальте длинными размазанными полосами. Витрина обувного магазина напротив давала мне зеркало на всю ширину тротуара, и в этом зеркале я увидела мотоцикл раньше, чем услышала его.

Он шёл вдоль осевой на средней скорости. Двое. Пассажир сидел слишком прямо для того, кто просто едет, и правую руку держал под курткой на уровне пояса.

Дальше мне не нужно было думать. Тело у меня работает быстрее головы — этому учат восемь лет, и потом оно уже не спрашивает разрешения.

Я успела сделать три вещи. Толкнула клиента плечом вниз и влево, за капот, — там металл и колёсная арка, это хоть какая-то защита. Крикнула водителю уходить. И встала между мотоциклом и тем местом, где только что был мой клиент, потому что именно за это мне платили, и потому что в ту секунду там больше некому было встать.

Выстрелов я почти не слышала. Странная вещь, о которой не рассказывают на курсах: вблизи это не грохот, а сухой плоский щелчок, будто кто-то с силой захлопнул книгу. Первый попал в бронежилет под лопатку, развернул меня. Второй прошёл выше, где пластин нет.

Асфальт оказался тёплым. Я лежала щекой на мокром камне, видела перевёрнутый фонарь, витрину с туфлями, чью-то ногу в чёрном ботинке совсем близко от моего лица. Слышала, как кричит метрдотель. Думала об очень глупом: что сегодня не позвонила матери, а собиралась. Что в морозилке разморозится рыба. Что клиент, кажется, жив, и значит, работа сделана.

Потом стало холодно, и свет ушёл.

Я умерла двадцать девятого октября, в двадцать два тридцать шесть, на Корсо Венеция, при исполнении.

Первое, что я поняла, — я лежу на камне, и камень неровный.

Это была профессиональная мысль, а не философская. Асфальт ровный. Я лежала на чём-то, что ровным не было: круглые булыжники разного размера, между ними сухая пыль, в пыли что-то липкое.

Второе — запах. Не выхлоп. Пыль, нагретая глина, дым от горящих дров, ослиная моча, перезрелые фрукты и поверх всего этого — что-то пряное и сладкое, чего я не могла назвать.

Третье — звук. Никаких машин. Вообще ни одной. Голоса, много голосов, не по-итальянски, где-то далеко удары металла о металл, рёв осла, скрип дерева.

Я не открывала глаза ещё секунд десять. Правило простое: пока противник считает тебя без сознания, преимущество твоё, а информацию можно собирать и с закрытыми глазами. Дышала неглубоко, ровно.

Боли не было нигде. Совсем. Я лежала на правом боку, левая рука подо мной, ноги свободны, ничем не связана. Одежда своя — я чувствовала воротник рубашки, жёсткий край брюк, шнуровку ботинок. Кобуры на бедре не было. Логично, если меня обыскивали. Но тогда сняли бы и ботинки.

Открыла глаза.

Переулок шириной в два шага, стены глиняные, побелённые когда-то давно, теперь серо-жёлтые. Сверху — полоса неба такой густой синевы, какой над Миланом не бывает. Солнце стояло высоко и било в одну стену, вторая была в глубокой тени, и в этой тени лежала я. Над головой на высо-

те третьего этажа между стенами были переброшены жерди, на жердях сушилось бельё.

В двух метрах от меня лежал мужчина.

Я села, и это движение отозвалось в спине под лопаткой тупой памятью удара — там, где вошла первая пуля. Больше нигде. Ощупала себя быстро: куртка на месте, рубашка на месте, ткань целая. Ни дырок, ни крови. Броню с меня, надо полагать, сняли, потому что её не было.

Потом я посмотрела на мужчину внимательно, уже как на работу.

Лет сорок. Смуглый, борода с проседью, одежда не европейская: длинная рубаха до колен, поверх неё безрукавка тёмного сукна, широкий пояс, обмотанный несколько раз, штаны, заправленные в мягкие сапоги. Голова непокрыта, рядом валялась смятая шапка с обмоткой. Лежал на спине, левая рука откинута, правая прижата к животу.

Под ним натекло. Кровь уже не блестела, края лужи схватились коркой и потемнели до бурого, но середина ещё была влажной. От тридцати минут до полутора часов, поправка на жару и на то, что камень сухой и тянет влагу.

Я подвинулась ближе на коленях и отвела его правую руку.

Два входа. Один под рёбрами справа, второй в бок, ниже. Узкие, с ровными краями, длиной в три пальца. Не нож с широким клинком — что-то тонкое и длинное. Ударили снизу вверх, с близкой дистанции, и знали куда: второй удар пришёл в печень, и от него человек умирает быстро, молча

и почти без шанса.

Он не защищался. На ладонях не было порезов, под ногтями чисто, рукава целые. Значит, либо не успел, либо не ожидал — стоял к тому, кто его убил, вплотную и спокойно.

Пояс был развязан и стянут набок. За него, судя по потёртости ткани, обычно затыкали что-то тяжёлое. Сейчас там было пусто.

Я сидела на корточках над трупом в чужом переулке и думала совершенно ясную вещь: меня сейчас найдут рядом с ним.

Приезжая в незнакомую страну, я всегда первым делом читала местный уголовный кодекс в части необходимой обороны. Полезная привычка. Только я не знала, какая это страна.

Я поднялась и проверила карманы. Свои.

Паспорт — тёмно-красный, с золотым гербом. Пропуск агентства с моей фотографией и голограммой. Ключи от квартиры в Милане, три штуки на кольце с брелоком-карабином. Пятьдесят евро одной бумажкой и мелочь. Телефон.

Телефон включился. Я смотрела на экран и понимала, что вот это — самое страшное, что я видела за сегодня. Двадцать девятое октября. Двадцать два тридцать шесть. Время остановилось в ту минуту, когда я легла на асфальт, и с тех пор не шло. Заряд семь процентов. Сети нет. Не «слабый сигнал» — нет вообще, ни одной полоски, пустой значок и перечёркнутый круг.

Я подняла его повыше, к полосе солнца. Ничего. Прошла три шага к устью переулка. Ничего.

Выключила и убрала во внутренний карман. Семь процентов — это ресурс, и тратить его на надежду я не собиралась.

От выхода из переулка до открытого пространства было метров пятнадцать. Я пошла туда, держась теневой стороны, и остановилась, не доходя двух шагов до света.

Улица. Узкая, кривая, вся в тени от натянутых поперёк полотнищ. Люди шли двумя встречными потоками, между ними проталкивались навьюченные ослы, и погонщики кричали что-то, от чего толпа расступалась. Мужчины в таких же рубахах и безрукавках, как у покойника, некоторые в халатах поярче. Головы у всех покрыты — чалма, шапка, платок, у кого-то просто намотанная тряпка. Женщин было мало, и все шли закутанными от макушки до щиколоток, парами или в сопровождении мужчины.

Вдоль стен сидели торговцы. Горки чего-то жёлтого и красного, конусы сахарных голов, связки сушёной травы, медные кувшины, рулоны тканей. Мальчишка тащил на голове поднос с лепёшками. Дальше, где улица расширялась, стояли навесы и начинался крытый ход с отверстиями в своде, и через эти отверстия внутрь падали белые столбы света, полные пыли.

Ни одного провода. Ни одной вывески с буквами, которые я могла бы прочесть. Ни стекла в окнах. Ни одного человека в брюках.

Поверх крыш, над всем этим, на высоком холме стояла крепость. Огромная, рыжая, с покатым каменным откосом у подножия, с мостом на арках, ведущим к башне ворот. Я видела её раньше — на фотографии, в новостном сюжете, кажется, о войне.

Цитадель Алеппо.

Я стояла в тени и медленно дышала.

У меня было три объяснения, и я честно перебрала все, потому что не перебрать их было бы непрофессионально.

Реконструкция, съёмки, тематический квартал — это отпало на вторую минуту наблюдения. Реконструкторы не выглядят так буднично. У массовки не бывает таких зубов, таких рук и такой одежды, застиранной, зашитой в четырёх местах, ношенной не первый год. И массовку не заставляют мочиться у стены на глазах у прохожих.

Кома, и всё это придумал мой мозг. Тут закавыка в том, что от этого объяснения ничего не меняется. Если действовать всё равно надо одинаково, то незачем и выбирать.

Оставалось третье, и оно мне не нравилось, зато объясняло разом и труп, и цитадель, и остановившееся время на экране.

Я умерла. И оказалась здесь.

Никакого света в конце коридора, никаких голосов, никакого выбора мне не предложили. Просто одно место закончилось и началось другое.

Мне понадобилось на это примерно сорок секунд. Потом

я отложила вопрос в сторону: он не решался, зато решались другие.

Оперативная обстановка выглядела так. Я не знала языка. Не знала законов. У меня не было воды, денег, которые здесь что-то значат, оружия, документа, который тут признают, и крыши. На мне была одежда, из-за которой на меня оглянется каждый встречный, и я, женщина, стояла одна на улице города, где женщины по улице одни не ходят. В пятнадцати метрах за спиной лежал убитый, и связать его было не с кем, кроме меня.

Значит, порядок такой. Внешность. Вода. Место. Легенда.

Легенда — первое, на самом деле, потому что остальное без неё не строится.

Вопрос, на который мне придётся отвечать сегодня раз двадцать: кто ты и почему ты одна.

Итальянка. Тут врать бессмысленно — выговор, лицо, рост, я не сойду ни за кого другого. Значит, надо использовать. Венеция. Венецианские купцы здесь есть, я в этом почти уверена: Алеппо — перекрёсток, сюда сходятся товары из Персии и Индии, и европейцы в таком месте были всегда. Венецианка — это объясняет язык, это объясняет деньги и это объясняет свободу, потому что женщины в венецианских торговых домах вели дела, когда мужей носило по морям.

Вдова. Вдова объясняет всё остальное: почему одна, почему без мужчины, почему едет. Вдова в любой культуре имеет право на то, на что не имеет права незамужняя.

Имя. Моё настоящее — Анна, его я оставлю, отзываться на чужое я буду с задержкой в полсекунды, а полсекунды тут стоят дорого. Фамилию нужно тяжёлую. Морозини. Венецианская фамилия, старая, из тех, что на слуху даже у тех, кто в Венеции не был. Если фамилия велика — это работает в обе стороны: ко мне будут осторожнее, но и проверить захотят сильнее. Я взяла риск.

Анна Морозини, вдова Джакомо Морозини, еду в Стамбул по делам торгового дома покойного мужа. Караван, с которым я шла, я потеряла. Или на него напали. Второе лучше: объясняет отсутствие вещей, денег и сопровождения и вызывает сочувствие вместо подозрения.

На всё это ушло меньше времени, чем на то, чтобы объяснить.

Я вернулась в переулок.

Он всё так же лежал, и мухи уже нашли его. Я присела рядом и сказала вслух, по-итальянски, потому что надо было что-то сказать:

— Извини.

Потом сняла с него безрукавку.

Она снялась тяжело — левую руку пришлось поднимать, и рука уже не гнулась как надо. Кровь на ней была только снизу, по краю, тёмное на тёмном не читалось. Шапку с обмоткой я тоже взяла. И нож, который нашла не за поясом, а в правом сапоге, в кожаном чехле, пришитом изнутри к голенищу: узкий, с прямым клинком в ладонь длиной, с потёр-

той костяной рукоятью. Убийца его не нашёл, потому что не искал — забрал то, что на виду.

Кто носит нож в сапоге и умеет пришить туда чехол, тот не подпускает к себе незнакомого вплотную. Значит, он знал того, кто его убил.

Я запомнила это и пошла дальше.

Бельевые верёвки над переулком висели низко, и с них я сняла длинный кусок серой ткани — не самый новый, и я выбрала именно его, потому что пропажу хорошей вещи заметят раньше. Обмотала голову и шею так, как видела на женщинах на улице: лоб закрыт до бровей, подбородок и шея закрыты, свисающий конец перекинут через плечо и спрятан. Волосы убрала полностью.

Безрукавку надела поверх своей куртки, и она сошлась на груди почти встык. Брюки и ботинки — с этим я ничего сделать не могла. Оставалось надеяться на пыль, на полумрак крытых рядов и на то, что человек видит то, что ожидает увидеть.

Нож ушёл за пояс, под безрукавку, рукоятью вправо и чуть назад. Я поправила его дважды, пока не легло правильно.

Потом рука сама скользнула к правому бедру, к тому месту, где восемь лет подряд висела кобура.

Там было пусто. Я посмотрела на собственную ладонь с некоторым интересом. Кобуры не было — её сняли вместе с бронёй, и всё равно рука пошла туда.

В крытых рядах было прохладно. Своды высокие, камен-

ные, в них через равные промежутки круглые отверстия, и через них падал свет, а в свете стоял дым от жаровен. Шум под сводом собирался и гудел. Пахло жареным мясом, кожей, мылом и чем-то горьким, травяным.

Я шла и работала.

Вход, выход, тупик. Ниши между лавками, куда можно уйти с линии. Мальчишки, которые слишком долго идут за одним и тем же человеком. Мужчина у столба, который ни на что не смотрит, но стоит здесь дольше меня. Ширина прохода, толщина толпы, направление потоков.

Толпа была плотная, но невраждебная, и на меня посмотрели ровно дважды: один раз продавец тканей, второй раз старуха с корзиной, и старуха смотрела дольше. Я опустила глаза и отвернулась, и она пошла своей дорогой.

Слова вокруг были не совсем чужие. Арабский я учила два года перед контрактом в Эмиратах, учила плохо, урывками, между сменами, но какие-то куски остались. Здесь говорили не на том арабском, который мне ставил преподаватель, но десятое слово я узнавала. «Сколько». «Дорого». «Завтра». «Вода».

Турецкий я слышала тоже, и его я не понимала вообще. Зато я поняла, что говорящих по-турецки здесь слушают внимательнее. Двое таких прошли через ряд, и перед ними расступились без всякой просьбы: высокие шапки, длинные тёмные кафтаны, походка людей, которые не привыкли обходить.

Османы. Ну конечно. Крепость на холме, минареты с восточной стороны, и город, в котором арабы торгуют, а турки ходят так, что перед ними расступаются. Селим взял Сирию — когда? Шестнадцатый век, начало. Значит, я где-то после.

Дальше без даты я была слепа, и это меня беспокоило больше, чем отсутствие денег.

Воду я нашла у мечети.

Фонтан был вделан в стену: каменная чаша, над ней решётка, из трубки бежала тонкая струя. К нему подходили, пили из ладоней, ополаскивали лицо и шли дальше, и никто ни у кого не спрашивал разрешения. Я подождала, пока отойдёт очередная пара, подошла и пила долго, дольше, чем стоило.

Вода была тёплая и отдавала железом, и лучше я не пила ничего никогда.

Пока пила, слушала.

И слышала итальянский.

Двое стояли в десяти шагах у стены мечети, в европейском платье — тёмные короткие плащи, шляпы, чулки. Говорили быстро, с венецианским тягучим выговором, о ценах на перец и о том, что галеры ушли из Триполи с опозданием. Один сказал, что в этом году, в сорок третьем, всё сдвинулось на две недели против обычного, и второй ответил, что так было и в прошлом.

Тысяча пятьсот сорок третий год.

Я стояла у фонтана с мокрыми ладонями и повторяла про

себя эту цифру, пока она не легла куда надо.

Сорок третий. Сулейман. Тот самый, которого европейцы зовут Великолепным, и империя сейчас на самом верху своей силы. Роксолана — она уже при нём, и она уже больше чем жена. Ибрагим-паша — визирь, друг детства, казнён; я помнила, что это было в тридцатые, значит, к сегодняшнему дню он мёртв уже несколько лет, и упоминать его как живого нельзя ни в коем случае.

Янычары. Синан строит мечети. Шёлковый путь работает, и по нему идёт всё — шёлк, перец, гвоздика, рабы, письма, слухи.

Больше я не помнила почти ничего, и это «почти ничего» было моим единственным преимуществом перед всеми остальными людьми в этом городе.

Подойти к соотечественникам я не могла. Я думала об этом ровно десять секунд, и вывод был жёсткий: венецианская колония в Алеппо — это тридцать-сорок человек, все друг друга знают, у них консул и свой двор, и если я назовусь Морозини перед ними, меня разберут за один вечер. Мою легенду можно рассказывать кому угодно, кроме венецианцев.

Я отошла от фонтана в тень и встала так, чтобы видеть площадь целиком.

И на этом моё везение кончилось, потому что через площадь шёл человек в такой же безрукавке, как на мне, и смотрел он прохожим на ноги.

Я развернулась и пошла в ряды.

Он двинулся следом. Не быстро — он не бежал, не кричал, просто шёл по моему следу через три человека, и в крытом ряду, где толпа гуще, сократил до двух.

Ботинки. Дело было в ботинках, я поняла это сразу. Ни у одного человека в этом городе не было на ногах чёрной кожи с рубчатой подошвой и шнуровкой на восемь дырок.

Я свернула в боковой проход, потом ещё раз, вышла к мастерским, где стучали по меди, и по звуку поняла, что здесь тупик раньше, чем увидела стену. Развернулась, прошла обратно и встала за угол у входа в мастерскую, спиной к стене, в тени, вполоборота.

Он вошёл в проход и остановился, потеряв меня.

Я дала ему сделать два шага и вышла сбоку.

Дальше было просто. Я взяла его за правое запястье, вывернула кисть наружу и вниз, и он пошёл за собственной рукой, как ходят все, потому что иначе ломается лучевая кость. Прижала его лицом к стене, локтем поперёк лопаток, ногу поставила между его ног. От начала до конца — секунды полторы, и он не успел даже вдохнуть, чтобы закричать.

Он был лёгкий и не боец. Под моей рукой он дрожал.

— Тихо, — сказала я по-итальянски, потом по-арабски, одним из тех десяти слов, что помнила. — Тихо.

Он забормотал. Я разобрала «Юсуф», разобрала «деньги», разобрала «не я».

Отпустила запястье, перехватила за шиворот, развернула

к себе и придержала у стены ладонью. Мальчишка. Лет семнадцать, жидкая борода, глаза как у зайца.

Он смотрел на меня и явно что-то узнавал. Не меня — вещь на мне. Ткнул пальцем в безрукавку. Сказал слово. Повторил его, потом сказал ещё одно, и это второе я знала.

«Мёртвый».

Я подобрала свои жалкие десять слов и спросила:

— Кто? Кто мёртвый?

Он назвал имя. Потом сказал ещё, длинно, быстро, и из всего этого я вытащила одно: «хан». Постоялый двор. Он показал рукой в сторону и назад, за мечеть, и повторил: хан, хан.

Я отпустила его.

Это было неправильно с точки зрения тактики: он видел моё лицо, он знал направление, и он мог привести людей. С точки зрения всего остального это было единственное, что я могла сделать, потому что он не был мне врагом и я не собиралась начинать здесь с убийства мальчишки.

Он не побежал. Постоял, потирая запястье, и сказал ещё одну фразу, и в ней было слово «караван».

Хан я нашла по запаху и по звуку.

Это оказался квадрат в два этажа, сложенный из светлого камня, с воротами такой высоты, что в них проходил гружёный верблюд. Внутри — двор, посреди двора колодец, по периметру нижнего этажа склады и стойла, наверху галерея с комнатами. Во дворе стояли на коленях верблюды, ходили

мулы, лежали на камне тюки, накрытые рогожей, и человек двадцать занимались каждый своим.

Я встала у ворот, в стороне, там, где сидели нищие, и смотрела минут десять.

Караван собирался. Это было видно по всему: тюки сортировали по весу, упряжь проверяли, воду наливали в бурдюки, и во дворе стоял старик в добротном халате, перед которым все проходящие замедляли шаг. Возле него держался писец с доской.

И у колодца, у самой воды, стояли трое мужчин с палками и одним мечом на всех, а перед ними — здоровый детина, который что-то им втолковывал. Один из троих ушёл. Двое остались.

Найм. Они набирали охрану, и набирали прямо сейчас, посреди дня, в спешке.

Люди не набирают охрану в спешке накануне выхода. Люди набирают её заранее, из проверенных. Набирают в спешке тогда, когда кто-то из проверенных вдруг перестал быть доступен.

Я стояла у ворот в чужой безрукавке, с чужим ножом за поясом и с паспортом страны, которой не будет ещё триста лет, и считала, что у меня есть.

Денег нет. Языка нет. Имени нет. Крыши нет. Есть навык, который здесь стоит дороже золота, — и ни одной причины, по которой кто-то поверит, что он у меня есть.

Я вошла во двор.

Старик поднял голову раньше, чем я сделала третий шаг, — значит, видел меня ещё у ворот. Писец рядом с ним перестал писать.

А за спиной старика, в тени под галереей, сидел на тюке человек и чистил ногти лезвием. Он не поднял головы, когда я вошла. Он вообще ни разу на меня не посмотрел — и я почувствовала его внимание так же ясно, как чувствуют направленный в спину свет.

Старик заговорил. Писец перевёл на ломаный итальянский, старательно и с трудом:

— Хаджи Мустафа спрашивает: женщина, ты потерялась? Кого ты ищешь?

— Работу, — сказала я. — Вы ищете охрану. Сегодня у вас убили человека в переулке за медными рядами. Ножом, дважды, снизу вверх, и он знал того, кто это сделал.

Писец переводил. Старик слушал, и его добродушное лицо не менялось, но глаза стали другими.

Во дворе сделалось очень тихо, и в этой тишине человек в тени наконец поднял голову и посмотрел прямо на меня.

Глава 2. Караван

Меня взяли в кольцо за четыре секунды.

Не по команде — просто двор перетёк так, что между мной и воротами встали двое, справа от колодца подошёл третий, а тот здоровый, который набирал охрану, оказался за левым плечом на расстоянии вытянутой руки. Работали они плохо: слишком близко друг к другу, слишком много спин

ко мне, и никто не прикрыл галерею наверху. Но их было семеро, а я стояла посреди открытого двора, и это перекрывало любые ошибки в расстановке.

Я не двинулась. Руки держала на виду, ладонями вперёд, локти у корпуса.

Хаджи Мустафа сказал что-то короткое. Писец прокашлялся и перевёл:

— Он спрашивает, откуда ты знаешь про Дауда.

— Дауд — это тот, кто лежит в переулке?

— Да.

— Я его нашла.

Старик заговорил быстрее, и голос у него был ровный, а вот руки он сложил перед собой так, как складывают, когда хотят не показать, что дрожат.

— Хаджи Мустафа говорит: женщины не находят мёртвых в переулке за медными рядами. Женщины туда не ходят. Он спрашивает, что ты там делала.

Вот он, первый настоящий вопрос за сегодня. Я знала, что он прозвучит, и знала, что отвечать на него придётся не словами.

— Я там очнулась, — сказала я. — На меня напали за городом, я была с караваном из Триполи. Меня оглушили и бросили. Очнулась рядом с ним.

Писец перевёл. Кто-то за спиной хмыкнул. Здоровый слева придвинулся ещё на полшага, и я слышала, как у него скрипит кожа пояса.

— Он спрашивает, почему тебе верить.

— Он и не должен верить. Пусть проверяет.

Я показала глазами на тюки под галереей — медленно, чтобы никто не принял движение головы за начало чего-нибудь.

— Дауд был опытный. Он не подпускал к себе чужих ближе чем на два шага — это видно по тому, как он носил нож: не за поясом, а в сапоге, в чехле, пришитом изнутри. Такое пришивают те, кого однажды уже обезоружили. У него на ладонях нет ни одного пореза, рукава целые, под ногтями чисто. Он не защищался. Такого не ударишь дважды подряд, если он тебя не знает и не стоит спокойно. Значит, убийца был ему знаком.

Писец переводил кусками, спотыкался, переспрашивал слова. Я говорила медленно и делала паузы там, где надо было дать ему догнать.

— Ударили снизу вверх, узким клинком, второй раз — в печень. Так бьют те, кто знает куда и хочет, чтобы жертва не кричала. Не грабёж. С него сняли то, что было за поясом, но нож в сапоге не нашли — потому что не искали. Искали что-то определённое и забрали только это.

Я замолчала.

Хаджи Мустафа слушал перевод, глядя мимо меня, на ворота. Потом сказал одно слово, и кольцо вокруг разомкнулось — не полностью, но двое отошли к колодцу.

— Он спрашивает: ты знахарка? Или ты видела, кто это

сделал?

— Ни то ни другое. Я просто читаю следы. Это моя работа.

— Твоя работа, — повторил писец с сомнением, уже от себя. — Женщина.

— Женщина, — согласилась я.

Старик подошёл ближе. Вблизи он оказался ниже меня на полголовы, сухой, с короткой белой бородой, крашенной хной на концах, и с лицом, какое бывает у людей, сорок лет проторговавших и ни разу не вышедших из себя. Добродушное лицо. Я смотрела в глаза и видела, что доброта там заканчивается на глубине примерно двух миллиметров.

Он заговорил, писец перевёл почти без задержки — видно, эту фразу ему приходилось переводить часто:

— Хаджи Мустафа благодарит тебя за слова о Дауде. Он даст тебе хлеба и воды, и ты пойдёшь. Он не берёт женщин.

— Он берёт охрану. Прямо сейчас, за день до выхода, из тех, кто подвернулся у колодца. Обычно так не делают.

Писец перевёл. Старик ответил, и в ответе было длинно и терпеливо.

— Он говорит: караван идёт до Стамбула шесть недель. В пути ханы через каждые полдня, ночёвки в поле, вода, разбойники, жара и туркменские всадники за Антиохией. Он говорит: женщина в караване — это не охрана, это груз, который надо охранять отдельно. Он говорит это без обиды, просто так есть.

— Проверьте.

Писец моргнул.

— Что?

— Пусть проверит. Один человек, по его выбору. Если он меня положит — я уйду и не вернусь, и хлеба не возьму.

Я слышала, как это звучит. Двадцатидевятилетняя женщина в чужой одежде, без денег, без бумаг и без имени, посреди двора с семью мужчинами, предлагает себя проверить. С тактической точки зрения это была отвратительная идея, потому что я отдавала инициативу, отдавала выбор противника и отдавала место.

С любой другой точки зрения у меня не было ничего другого.

Писец перевёл. Двор начал смеяться — не зло, а так, как смеются над хорошей шуткой в конце тяжёлого дня. Здоровый слева засмеялся громче всех и что-то сказал, и от этого засмеялись ещё сильнее.

Хаджи Мустафа не смеялся. Он смотрел на меня и молчал очень долго, а потом кивнул на здорового и произнёс короткую фразу.

— Он говорит: Байрам. Он говорит: не ломать.

Байрам был выше меня на голову и тяжелее килограммов на сорок. Ширина плеч такая, что руки висели не вдоль тела, а чуть в стороны. Шея переходила в затылок одной линией. На левом предплечье старый шрам от ожога, на костяшках правой руки — сбитая и заново наросшая кожа.

Он бил людей. Часто, много и, видимо, успешно.

Он стянул с себя безрукавку, бросил её в пыль и пошёл ко мне вразвалку, скалясь и разводя руки — показывал зрителям, какая она маленькая, эта женщина. Толпа во дворе загудела. Кто-то уже спорил на деньги.

Я стояла и смотрела на его ноги.

Он шёл с весом на пятках, разведя носки. Плечи впереди бёдер. Правое плечо чуть выше левого, и правую руку он держал ближе к телу. Значит, начнёт справа, возьмёт за плечо или за шиворот, чтобы притянуть и встряхнуть. Показательно. На публику.

Байрам протянул руку.

Я позволила ему взять.

Это самое трудное — дать себя схватить, и на курсах это отрабатывают месяцами, потому что тело сопротивляется. Его пальцы сомкнулись на моей безрукавке у левого плеча, и в ту же долю секунды, пока он ещё не начал тянуть, я накрыла его кисть своей левой ладонью, прижала её к своей ключице и повернулась.

Не дёрнула. Просто повернулась всем корпусом вправо, уводя его локоть наружу.

Кисть человека не поворачивается больше, чем на девяносто градусов. Дальше поворачивается локоть, за локтем плечо, а за плечом идёт сам человек — вниз и вперёд, потому что иначе рвутся связки. Байрам был тяжелее меня вдвое, и это работало на меня: чем больше масса, тем быстрее она падает, когда ей объяснили, куда.

Он встал на колено. Я довела руку до земли, поставила колено ему между лопаток, и его лицо легло щекой в пыль двора.

Полторы секунды. Может, две.

Во дворе стало тихо так же быстро, как перед этим стало шумно.

Я держала его недолго — ровно столько, чтобы все успели увидеть. Потом отпустила руку, встала и отошла на два шага назад, оставив ему пространство для того, чтобы подняться и не чувствовать себя загнанным.

Это была не жалость. Унизь его при своих — и получишь врага на всю дорогу, а мне с ним предстояло шесть недель в одном караване.

Байрам поднялся. Отряхнул лицо ладонью, помотал головой и посмотрел на свою правую кисть с искренним недоумением. Потом посмотрел на меня.

И засмеялся.

Хохотал он оглушительно, запрокинув голову, тыкая в меня пальцем и что-то выкрикивая, и через пару секунд захохотал весь двор. Кто-то хлопал его по спине. Кто-то требовал деньги за спор.

Я выдохнула. Одна проблема из тридцати закрылась.

Хаджи Мустафа подозвал писца и продиктовал длинное. Писец слушал, кивал и повернулся ко мне:

— Хаджи Мустафа говорит: он берёт тебя до Стамбула. Половина от того, что платят мужчине, и половину полу-

чишь в конце. Ты спишь отдельно, ты ешь после мужчин, и ты слушаешься Байрама, который старший над охраной. Он говорит: если ты воровка или беглая рабыня, он узнает об этом на третий день и оставит тебя в первом же хане, и никто не станет тебя искать. Он спрашивает твоё имя.

— Анна Морозини, — сказала я. — Вдова Джакомо Морозини. Из Венеции.

Писец записал на доске тростниковым пером. Я смотрела, как арабская вязь ложится справа налево, и думала, что вот сейчас это имя впервые появилось в мире, и что назад его уже не убраться.

Старик услышал «Морозини» и приподнял брови. Сказал что-то, и в этом слове я разобрала «Венедик».

— Он спрашивает, есть ли у тебя бумага от твоего консула.

— Всё осталось у тех, кто на нас напал.

Хаджи Мустафа кивнул — спокойно, без тени доверия, и я поняла, что он не поверил ни единому слову с самого начала. Он просто решил, что от меня больше пользы внутри каравана, чем снаружи.

Разумный человек. С такими проще.

Потом он повернулся к галерее и сказал что-то в тень.

— И ещё он говорит, — писец замялся. — Он говорит: ткань тебе даст Керим-эфенди. У тебя одежда неправильная. Человек в тени поднялся с тюка и пошёл через двор.

Я его рассмотрела только теперь. Среднего роста, обыч-

ного сложения, лет сорока, в тёмно-сером кафтане до середины икры, подпоясанном без единой лишней складки. Борода короткая, аккуратная. Лицо совершенно заурядное: такие лица я на работе описывала в отчётах фразой «особых примет не имеет», и потом сама не могла их вспомнить через неделю.

Он шёл по прямой, ни на кого не наталкиваясь, и при этом никто во дворе не посмотрел в его сторону. За ним не следили глазами. Люди вокруг реагировали на него так, как реагируют на столб или на собственную руку.

Я знаю, сколько стоит эта незаметность. Её ставят годами. Ей учат не всех и не везде.

Он остановился передо мной на правильной дистанции — чуть дальше вытянутой руки, вполоборота, левой стороной ко мне. Так встают, чтобы не перекрывать себе обзор на ворота. Так встают люди, которые всегда знают, где ворота.

В руках он держал сложенный отрез тёмно-синей ткани.

— Возьми, — сказал он.

По-итальянски. Не быстро и не бегло, с заметным акцентом, но чисто.

Я взяла ткань. Она была плотная, шерстяная, хорошего плетения — не та, которую отдают нищей женщине во дворе.

— Вы говорите по-итальянски.

— Немного. — Он смотрел мне в лицо и не отводил взгляда, и в этом не было ни вызова, ни интереса, который я привыкла видеть в мужских глазах. Он меня читал, как я читала

Байрама. — Закрой ноги. На тебя смотрят.

— Спасибо.

— Это не любезность. — Он повернулся уходить, потом добавил, не оборачиваясь: — Байрама ты отпустила слишком рано. Он это заметит завтра, не сегодня.

И ушёл под галерею.

Я стояла с синей шерстью в руках и отчётливо понимала, что за сегодняшний день впервые встретила кого-то, кто опаснее меня.

Комната, которую мне выделили, была кладовкой под лестницей: четыре шага в длину, два в ширину, окно под потолком размером с ладонь, на полу циновка. Дверь закрывалась изнутри на деревянный засов, и это было первое хорошее известие за весь день.

Я проверила её как положено. Стены — камень, потолок — балки и глина, через окно не пролезет и ребёнок. Единственный вход простреливается с галереи, но галерея выходит во двор, а двор на ночь запирают. Из плохого: если запирают двор, то заперта и я.

Ткань я развернула. Отрез был длинный, метра четыре, и я довольно долго соображала, что с ним делать, пока не посмотрела с галереи, как ходят женщины вниз. Получилось не идеально, но брюки скрылись полностью, а ботинки я замотала по голенищу так, что осталась видна только подошва.

В отражении медного блюда, которое я выпросила у кухни, на меня посмотрела чужая тётка в синем.

Свою куртку я аккуратно сложила и убрала под циновку. Паспорт, пропуск, ключи и телефон — во внутренний карман куртки. Пятьдесят евро туда же. Всё моё имущество из прошлой жизни помещалось в один карман, и в этом была какая-то законченность.

Нож я переложила из-за пояса в правый сапог и пришила чехол суровой ниткой, которую взяла у погонщика за обещание помочь с тюками.

Мариам нашла меня сама, когда я сидела на ступеньке и училась наматывать головное покрывало с третьей попытки.

Она поднялась по лестнице с кувшином, посмотрела на мою конструкцию, поставила кувшин и молча перемотала мне ткань за десять секунд. Ей было лет тридцать пять, у неё было узкое лицо с очень прямым носом и глаза, накрашенные тёмным до самых висков.

— Ты держишь высоко, — сказала она. По-итальянски. Хуже, чем Керим, но понятно. — Со лба. Иначе к полудню голова сварится.

— Вы тоже говорите по-итальянски.

— Мой муж торгует шёлком. Шёлк покупают франки. — Она пожала плечами. — Я Мариам. Мой муж Хосров, мы из Тебриза. В караване, кроме нас с тобой, женщин нет. Теперь тебе будет с кем есть.

— Анна.

— Я знаю. Весь двор знает. Ты положила Байрама, и об этом до утра будет знать весь город. — Она подняла кувшин

и посмотрела на меня поверх него с откровенным любопытством. — Скажи мне одно, Анна из Венеции. Где ваши венецианские вдовы этому учатся?

— У нас беспокойный город.

Мариам засмеялась — коротко, одним выдохом — и пошла по галерее к себе.

Умная. Наблюдательная. Говорит на трёх языках и выбирает, на каком заговорить первой. В любом караване есть человек, через которого течёт вся информация, и я только что этого человека нашла.

Жаль только, что первой нашла меня она.

Вечером во дворе резали барана и варили в большом котле, и запах стоял такой, что у меня темнело в глазах: я не ела сутки, а до этого — четыреста восемьдесят лет.

Ела я после мужчин, как договаривались, вместе с Мариам, в углу у кухни. Хлеб был плоский и горячий, мясо жёсткое, бульон обжигал. Лучше я не ела ничего никогда, и я начинала подозревать, что эту фразу мне придётся повторять здесь довольно часто.

Солнце ушло за крыши, и цитадель на холме сначала стала красной, потом медной, потом просто чёрной глыбой на догорающем небе. Над двором зажгли масляные плошки, и в их свете тени от верблюжьих горбов легли на стены неправильными горами. Ослы во сне вздыхали по-человечески. Где-то за стеной ударили в барабан, ему ответил второй, и Мариам сказала, не поднимая головы от миски:

— Свадьба. Три дня будут.

Я сидела на камне, ещё тёплом от дневного солнца, и слушала чужие барабаны.

Первый раз за весь день у меня не было ни одной задачи. Руки лежали на коленях без дела, и в этой пустоте наконец проступило то, что я весь день отодвигала: у меня была квартира на третьем этаже с окном во двор и с кофемашиной, которую я так и не научилась чистить. Была мать в Бергамо, которой я не позвонила. Был сменщик Паоло, который завтра выйдет вместо меня и будет ругаться, что я опять не сдала отчёт.

Никто из них не узнает, что со мной. Для них я просто умерла на мокром асфальте, и это, если подумать, правда.

Я досчитала до десяти, встала и пошла проверять периметр, потому что работать легче, чем сидеть.

Периметр был плохой.

Ворота запирались на брус, но брус лежал в гнёздах свободно и снимался снаружи ножом через щель, если знать, где щель. Ночной сторож сидел у ворот на табурете и уже спал. Стойла с животными не просматривались с галереи — глухая зона в четверть двора. Тюки с товаром сложили под навесом у восточной стены, и дежурили при них двое, оба с одной стороны, оба лицом к воротам, спиной к самому товару.

Если бы мне поставили задачу вынести что-то из этого двора ночью, я бы уложилась в двадцать минут и обошлась без крови.

Я обошла двор по кругу, отмечая, и на втором круге поняла, что иду не одна: под галереей, у дальнего конца, стоял Керим и тоже смотрел на тюки под навесом.

Он не мог не заметить меня. Я не стала прятаться и прошла мимо на расстоянии трёх шагов.

Он не сказал ничего. Я не сказала ничего.

Мы оба знали, что второй считает те же самые дыры в охране, и оба знали, что второй это знает.

Я легла на циновку около полуночи, не раздеваясь, и заснула тем самым сном, которым сплю на выездах: поверхностным, с включённым слухом. Такому учатся однажды, и потом от него не избавиться — даже в отпуске я просыпаюсь от лифта на своём этаже.

Проснулась я оттого, что за стеной у самого моего окна кто-то стоял и разговаривал.

Окно моей кладовки выходило не во двор, а в проулок за ханом — узкую щель между стеной хана и стеной соседнего дома, куда выносили золу. Я поняла это ещё днём и отметила как уязвимость.

Голосов было два. Один говорил по-турецки, быстро и тихо, второй отвечал по-арабски, с трудом. Общих слов у них было мало, и потому они говорили медленно и повторяли — для меня это оказалось подарком.

Я села под стеной, подтянула колени и перестала дышать глубоко.

«Завтра». Это я знала. Прозвучало трижды.

«Сколько дней»? Ответ: слово, потом число. «Шесть». Или «семь» — я не была уверена, эти два слова у меня путались.

Потом арабский голос сказал длинное, и в этом длинном было слово, которое я знала точно, потому что выучила его первым из всех арабских слов на своём первом контракте, и потому, что оно не меняется нигде на свете.

Железо.

Турецкий голос перебил. Говорил коротко, отрывисто, и повторил дважды одно и то же имя.

Юсуф.

Мальчишка в медных рядах днём сказал то же самое имя, прежде чем я его отпустила.

Я поднялась и медленно, по миллиметру, подтянулась на руках к оконной щели под потолком.

Внизу, в проулке, при свете луны стояли двое. Один — коренастый, в тюрбане, я видела только макушку и плечи, и не узнала. Второй стоял ко мне лицом.

Я знала его. Я видела его сегодня во дворе, после полудня, когда он подавал воду мулам: обычный погонщик, нанятый здесь же, в Алеппо, худой, с длинной шеей, из тех, на кого не смотришь дважды.

Он что-то передал коренастому. Небольшое, завёрнутое в тряпку, размером с ладонь.

Коренастый развернул, посмотрел, завернул обратно и сунул за пазуху. Потом сказал одно слово, и на этот раз голос

прозвучал громче, и я расслышала его целиком.

Слово было не турецкое и не арабское.

Оно было итальянское.

Глава 3. Первый контакт

Караван вышел из Алеппо за час до рассвета, и я всю ночь просидела под окном, решая, что из услышанного говорить вслух.

Получалось — ничего.

Я разложила это как обычную задачу. Что у меня есть: два человека в проулке, один из которых наш погонщик; имя Юсуф, произнесённое дважды; слово «железо»; свёрток размером с ладонь; срок в шесть или семь дней; и итальянское слово, брошенное человеком в тюрбане.

«Арсенале».

Я слышала его ясно, и оно означало ровно то, что означает в Венеции: верфи, литейные, канатные дворы, место, где республика делает корабли и пушки. Тот, кто произносит это слово вслух посреди сирийского проулка, говорит не о корабле. Он говорит о том, что оттуда выходит.

Что я могу доказать: ничего. Лица коренастого я не видела. Свёрток исчез. Погонщика я знаю в лицо, но в караване сорок с лишним человек, и половину наняли в Алеппо на прошлой неделе.

Кому я могу это сказать: Хаджи Мустафе, который держит меня три дня на проверке и который решит, что беглая женщина отводит от себя подозрение. Или Байраму, кото-

рый вчера лежал лицом в пыли по моей милости.

Вывод был неприятный, но единственный. Я знала про разговор больше всех в этом караване и не могла сказать об этом ни единому человеку, не выдав себя первой.

Значит, работаем молча.

Собирались в темноте, при плошках. Двор наполнился шумом, какого я не слышала никогда: верблюды ревели, мулы били копытами по камню, погонщики перекрикивались, скрипели затягиваемые ремни. В этом хаосе была своя жёсткая последовательность — сначала выючили тяжёлое, потом лёгкое, потом воду, и каждый знал, к какому животному идти.

Я нашла своё место в колонне последней и стояла в стороне, пока Байрам не подошёл и не ткнул пальцем: сюда.

Он показал мне на хвост колонны.

Хвост — это правильно для новичка и неправильно для дела. В голове идёт разведка и решается, куда сворачивать. В середине идёт товар. Хвост — это пыль, оставшие животные и удобная позиция для того, кто нападает сзади.

С другой стороны, из хвоста видно всю колонну.

— Хорошо, — сказала я.

Байрам посмотрел на меня сверху вниз и потёр правое запястье. Он делал это уже третий раз с утра и, по-моему, сам не замечал.

Керим сказал правду: он заметит завтра. Завтра наступило.

Мне дали мула. Ездить на нём я не умела совершенно, но падать умела, и через первый час мы с ним пришли к взаимопониманию.

Выходили через западные ворота, и я обернулась ровно один раз.

Алеппо в предрассветной серости стоял плотной массой плоских крыш, из которых торчали квадратные минареты, а над всем этим на своём холме, чёрная на сером, лежала цитадель. По улицам ещё не было никого, кроме водоносов. Из пекарен уже тянуло дымом. Потом дорога пошла под уклон, город опустился за спину, и остался только один купол на горизонте, и вскоре пропал и он.

Я больше никогда его не увижу, подумала я. Ни его, ни Милана.

Мысль прошла и не задержалась. С такими мыслями надо обращаться как с болью в тренировочном зале: отметить, что она есть, и продолжать работать.

Рассвело быстро. Небо на востоке стало сначала зелёным, потом жёлтым, и через четверть часа солнце вышло целиком и начало заниматься тем, чем занималось здесь последние четыреста восемьдесят лет до меня и будет заниматься потом.

Равнина была рыжей, выжженной до костей, с редкими рощами олив и с квадратами полей, уже убранных. Дорога — не дорога, а широкая полоса утопанной земли, которую за века пробили копытами и по которой шли вразброд, рас-

тянувшись метров на двести. По обочинам валялись кости павших животных, отбеленные до мела.

Ветер шёл с юга и нёс пыль. К восьми утра она была у меня в зубах, в глазах и под покрывалом, и я поняла, зачем Мариам мотает ткань именно так.

Я шла и считала караван.

Сорок четыре человека. Одиннадцать верблюдов, двадцать с чем-то мулов, четыре лошади. Из людей: Хаджи Мустафа с писцом и двумя слугами, восемь купцов помельче со своими людьми, Хосров с Мариам, погонщики, кухня и девять человек охраны, включая меня.

Охрана шла тремя кучками: четверо в голове, трое в середине, двое в хвосте. Байрам мотался вдоль колонны верхом. На привалах они садились есть все вместе, в одном месте, и в это время колонна не прикрыта вообще ничем.

Самое слабое — они смотрели наружу. Все девять, всегда. Их учили, что опасность приходит с холмов.

Опасность у нас шла в колонне и ела с нами из одного котла.

Погонщика из проулка я нашла на третий час пути.

Он вёл двух мулов ближе к середине, и шёл он нормально, работал нормально, разговаривал с соседями нормально. За полдня я не поймала ни одного лишнего движения.

Кроме одного. Каждый раз, когда колонна равнялась с развилкой или с рощей, он оглядывался назад. Не на колонну — за неё, на дорогу, по которой мы пришли.

Человек проверяет, идёт ли кто-то следом, когда ждёт, что кто-то пойдёт следом.

К полудню жара встала стеной, и караван остановился у хана.

Хан стоял в чистом поле — квадрат серого камня с одними воротами, без окон наружу, с куполом над молельней и площадкой для животных внутри. Построен так, чтобы держать осаду, и построен, судя по кладке, недавно.

Внутри было темно и прохладно, на два-три градуса ниже, чем снаружи, и от этой разницы кружилась голова. Люди сползали в тень у стен и лежали молча. Воду набирали из колодца в середине и пили, обливая головы.

Я нашла позицию у северной стены, спиной к камню, с обзором на ворота и на проход в стойла, села на корточки и стала смотреть.

Керим подошёл через двадцать минут.

Он не подкрадывался. Прошёл через двор по прямой, у меня в поле зрения от самого колодца, чтобы я видела его все двадцать шагов. Остановился в стороне, на трёх шагах, и заговорил не сразу — сначала посмотрел на ворота, на которые смотрела я, оценил то же, что оценивала я, и только потом повернул голову.

— Синьора Морозини.

— Керим-эфенди.

— Можно?

Я показала на камень рядом. Он сел под углом ко мне, так

что мы смотрели в разные стороны и вместе закрывали весь двор.

Профессионально. Мы делали это на сдвоенных постах, и так же садились с Паоло в Милане на ночных, и я поймала себя на том, что чуть не сказала об этом вслух.

— Ты выбрала хорошее место, — сказал он.

— Здесь тень.

— Тень вон там. — Он не показал рукой, только повёл подбородком к западной стене, где действительно тени было вдвое больше и где лежало человек десять. — Там прохладнее. Но оттуда не видно ворот.

Вот так. Без разгона, первым же ходом.

Я могла ответить двумя способами. Первый — удивиться и сказать, что просто села где села. Он бы кивнул и ушёл, и мы бы оба знали, что я вру, и я бы этим соврала о себе больше, чем правдой.

Второй — не отступать.

— У этого хана одни ворота, — сказала я. — Если их закрыть снаружи, внутри сорок четыре человека в каменной коробке без второго выхода. Хороший дом. Плохая ловушка.

Керим помолчал. Я смотрела на ворота и боковым зрением видела, что он смотрит на проход в стойла, и что ни он, ни я не смотрим друг на друга.

— Их строит султан, — сказал он наконец. — По всем дорогам. Купцы платят за это налог и ругаются, что дорого. Потом приходят разбойники, и купцы запираются внутри и

хвалят султана. Второго выхода нет нарочно — чтобы ночью не выносили товар без пошлины.

— Логично.

— Ты первая женщина, которая заговорила со мной про ворота. — Он повернул голову. — Мужчины тоже не спрашивают.

— Меня наняли охраной.

— Тебя наняли, потому что Дауд мёртв и Хаджи Мустафа напуган. — Он говорил без выражения, негромко, тем голосом, каким сообщают погоду. — Ты знаешь, что он послал человека в Венецианский двор? Спросить про дом Морозини.

Внутри у меня похолодело, и я была рада, что сижу, потому что сидя легче держать лицо.

— Разумно с его стороны, — сказала я.

— Человек вернулся вчера вечером. Дом Морозини существует. Джакомо Морозини в их списках нет, но у дома много родни, и не все записаны в Алеппо. Хаджи Мустафа решил, что этого достаточно.

— А вы?

— Я решил, что этого мало.

Мы помолчали. Во дворе кто-то поил верблюда, и верблюд возмущался.

— Вы торгуете тканями, — сказала я.

— Торгую.

— Какими?

— Шерсть из Анкары. Немного шёлка, когда берут.

— И много ли купцов, торгующих анкарской шерстью, говорят по-итальянски?

— В Стамбуле — половина. — Он чуть повёл плечом. — В Алеппо — я.

— И этот один оказался в караване, в который за день до выхода взяли новую охрану вместо убитого.

— И эта новая охрана за один день научилась ходить в покрывале, хотя вчера не умела его намотать. — Он сказал это без тени улыбки. — Ты быстро учишься, синьора. Люди так быстро не учатся чужому. Они учатся забытому.

Я развернулась к нему.

Он выдержал взгляд. Глаза у него были обыкновенные, карие, некрупные, и смотрели они спокойно и очень внимательно, и я поняла, что за всё утро он ни разу не посмотрел мне ниже лица.

— Давайте начистоту, Керим-эфенди, — сказала я по-итальянски, медленно, чтобы он взял каждое слово. — Вы не купец. Я это увидела во дворе за десять секунд, и вы знаете, что увидела, потому что видели, как я смотрела. Вы шли через двор, и на вас никто не посмотрел, а этому учат. Вы садитесь спиной к камню и лицом в открытое. Вы знаете, кто послал человека в Венецианский двор и когда тот вернулся, а это знают двое — Хаджи Мустафа и тот, кто следит за Хаджи Мустафой.

— Продолжай.

— Вы могли рассказать ему всё это про меня вчера вечером. Меня бы высадили в этом хане, и правильно бы сделали. Вы не рассказали.

— Не рассказал.

— Почему?

Керим посмотрел на ворота. Долго — секунд десять, и за эти десять секунд я успела расписать себе три варианта ответа и ни один не угадала.

— Потому что человек, который умеет читать мёртвого в переулке, полезнее рядом, чем позади, — сказал он. — И потому что ты не воровка. Воровки не стоят у ворот, они стоят у товара.

— Это два ответа.

— Да.

— А третий?

— Третьего я тебе не скажу.

Он поднялся. Отряхнул кафтан ладонью — одно движение, и на ткани не осталось ни пылинки, а на моей безрукавке пыль лежала слоем.

— Синьора Морозини. Один совет, и я больше не буду их давать. — Он смотрел сверху, и голос стал тише. — Здесь человек стоит ровно столько, сколько стоят те, кто за него поручится. У тебя нет за спиной никого. Пока ты полезна, это никого не тревожит. В тот день, когда ты станешь опасна, тебя не будут проверять — тебя оставят у дороги. Не показывай больше, чем нужно. Ты вчера показала на три года

вперёд.

Он пошёл прочь. Я смотрела ему в спину и говорила ровно то, что собиралась:

— Керим-эфенди. Вы за целый день ни разу не тронули товар и ни разу не спросили про цены. Зато вы дважды прошли мимо груза Хосрова и один раз мимо тюков, которые грузили последними. — Он остановился. — Мне тоже интересно, что в них.

Он не обернулся.

— Не интересуйся, — сказал он и ушёл в тень.

Моя рука лежала на правом бедре. Я обнаружила это, только когда он скрылся за верблюдами: пальцы легли на пустое место, где восемь лет была кобура, и большой палец уже нашёл, где должна быть застёжка.

Я посмотрела на ладонь.

— Успокойся, — сказала я ей вслух, по-итальянски. — Его там нет.

Она не поверила. Через полчаса я поймала её там снова.

Вышли, когда солнце перевалило и жара стала терпимой, и шли до темноты.

Равнина к вечеру пошла складками, потом появились холмы, покрытые сухой колючкой, и дорога полезла вверх. С перевала было видно далеко назад — рыжее пространство до самого горизонта, дрожащее от остывающего воздуха, и в этом пространстве ни одного дерева выше человека. Впереди, на западе, небо стояло чистое, без единого облака, зелё-

ное у самого края.

Пахло полынью и нагретым камнем. Пели цикады — оглушительно, на одной ноте, и умолкали кусками, когда караван проходил мимо, и снова начинали за спиной.

Я шла рядом со своим мулом и смотрела на всё это, и был момент — короткий, между двумя поворотами дороги, — когда я поймала себя на том, что мне здесь хорошо. Просто хорошо, без оговорок: вечер, дорога, работа, которую я умею, и никакого начальства, которое требует отчёт.

За такие моменты потом платят. Но в тот вечер я об этом не думала.

Ночевали у следующего хана — не внутри, места хватило не всем, и часть каравана встала лагерем снаружи, у стены. Разложили три костра. Кухня варила крупу с курдючным салом.

Мариам подсела ко мне с миской.

— Ты весь день смотрела на Хасана, — сказала она.

Я не донесла ложку.

— На кого?

— На погонщика с двумя мулами. Худой, шея длинная. Его зовут Хасан, он из Алеппо, нанялся вчера, в тот самый день, когда убили Дауда. — Мариам ела спокойно, глядя в огонь. — Ты смотрела на него семь раз. Я считала.

Она была опаснее, чем я думала. Я пересчитала её заново и повысила уровень на две ступени.

— А ты смотрела на меня.

— Я смотрю на всех. Это единственное развлечение в дороге. — Она подобрала хлебом остатки. — Анна. Я не спрашиваю, кто ты. Твоё дело. Но если ты смотришь на человека семь раз за день, смотри реже. Здесь все всё замечают, дорога длинная и говорить больше не о чем.

— Спасибо.

— И ещё, — сказала Мариам, поднимаясь. — Тот, за кем ты смотришь, сегодня тоже кое-кого искал глазами. Не тебя.

— Кого?

— Керима-эфенди. — Она стряхнула крошки с подола. — Я не знаю, что у них, и знать не хочу. Спокойной ночи.

Я спала в ту ночь три часа, у стены, положив под голову свёрнутую куртку. Просыпалась дважды: один раз от лошади, второй раз оттого, что смолкли цикады.

Караван поднялся затемно, и все, кто мог, уже выючили, когда от стойл закричали.

Кричал мальчишка-водонос, высоко и без слов, как кричат дети, а не взрослые.

Я оказалась там четвёртой.

Между стеной и поилкой, на утопанной земле, лицом вниз лежал охранник. Тот, что накануне шёл третьим в голове колонны, — молодой парень с редкой бородой, который вчера на привале смеялся громче всех.

Крови не было нигде.

Я присела рядом, взяла его за плечо и перевернула.

И поняла, что теперь молчать не получится.

Глава 4. Отравление

Первое, что я сделала, — посмотрела ему в глаза.

Зрачки были расширены и не сузились, когда я повернула лицо к свету от факела. Губы и ногти отливали серым. Рвота — дважды, судя по двум пятнам на разном расстоянии: сначала он стоял, потом уже лежал на боку. На одежде спереди сухая корка, значит, первый раз его вырвало не меньше часа назад.

Кожа была холодная, но не как земля под ним — теплее. Пальцы ещё гнулись, челюсть уже нет. От двух до четырёх часов, поправка на ночную прохладу.

Ран не было. Я проверила всё: волосистую часть головы, шею, подмышки, живот, внутреннюю поверхность бёдер — все места, куда бьют, когда хотят, чтобы не нашли. Ни прокола, ни ссадины, ни следа удувки. Сломанных ногтей нет, костяшки целые.

Он умер, ничего и никого не касаясь.

— Отойди от него.

Байрам стоял надо мной, и за его спиной уже собралось человек пятнадцать. От стойл шёл пар от животных, от костра тянуло дымом, а небо на востоке только начинало сереть.

— Ещё минуту.

— Женщина, отойди. Он мусульманин. Его обмоют и завернут, и это сделают мужчины.

Я подняла голову.

— Байрам. Через час его завернут, и мы пойдём дальше,

и через шесть дней умрёт следующий. Я хочу, чтобы это был не ты.

Он смотрел на меня сверху. Потом сделал полшага назад. Я вернулась к телу.

Рядом с правой рукой лежала опрокинутая деревянная чашка. Я подняла её и понюхала. Внутри осталось на два пальца жидкости, мутной, с осадком. Пахло горьким и травяным.

На дне, в осадке, было три-четыре обрывка листьев.

Я вытряхнула их на ладонь и поднесла к факелу. Листья узкие, длинные, плотные, с толстой центральной жилкой — вываренные, потемневшие, но форма читалась.

Я знала этот лист. Я видела его весь вчерашний день по обочинам, у пересохших русел, где он рос кустами в человеческий рост и цвёл розовым даже в такую сушь.

Олеандр.

Нас гоняли по этому на курсах тактической медицины — раздел «растительные токсины в зоне ответственности». Средиземноморье, Ближний Восток, растёт везде, где есть хоть капля воды. Сердечные гликозиды. Убивает через рвоту и остановку сердца, не оставляя на теле вообще ничего. Достаточно нескольких листьев, вываренных в воде. Достаточно, если верить лектору, даже воды, в которой их вываривали.

Я вспомнила, что тот лектор рассказывал ещё: солдаты в древности жарили мясо на олеандровых прутьях и умирали

от этого. Тогда мне это показалось историей для оживления лекции.

— Что там? — спросил Байрам.

— Лист. — Я показала ему ладонь. — Знаешь такой?

Он посмотрел, и его лицо изменилось. Он знал.

— Это закум, — сказал он. — Эта дрянь растёт у воды. Козы её не едят. От неё дохнет скотина.

— От неё дохнут люди. Кто-то вываривал её в воде, а потом налил ему в чашку.

— Он мог сам.

— Мог. — Я встала. — Зачем?

Байрам молчал. За его спиной молчали остальные, и молчали они плохо, тем сгущающимся молчанием, из которого через минуту вырастают либо драка, либо паника.

— Откуда он брал воду? — спросила я громко.

Никто не ответил. Потом из задних рядов мальчишка-водонос сказал что-то по-арабски, и Байрам перевёл, глядя в сторону:

— Он говорит: ночью Юнус пил не из общего бурдюка. Он пил из того, что висел у третьего мула.

— Покажи мне этого мула.

Бурдюк висел там же, где ему полагалось, на левом боку у вьючного седла, за верёвочной петлёй, и был наполовину полон.

Я развязала горловину и понюхала. Горечь была слабее, чем в чашке, но она была.

— Чей это мул? — спросила я.

Погонщик, стоявший рядом, заговорил быстро и испуганно, тыча рукой то в мула, то куда-то назад, за костры.

Байрам слушал и переводил медленно, и на середине перевода его голос изменился.

— Этот мул идёт под товаром Керима-эфенди. И бурдюк его.

Я закрыла горловину и завязала её так, чтобы узел остался мой и я узнала бы, если его развяжут.

Дальше всё складывалось само.

Юнус был из ночной смены и стоял до третьей стражи. Ночью холодно, воду с общего котла раздают вечером, и он выпил свою ещё до полуночи. Ему захотелось ещё. Общий бурдюк висел у кухни, за спиной у спящего повара, а этот — в двух десятках шагов, на муле, без хозяина, без охраны и без единого человека рядом.

Он взял чужой, потому что было ближе.

Я стояла и смотрела на бурдюк, и у меня внутри было холодно и очень ясно.

Яд предназначался не ему.

Хаджи Мустафа принял меня в молельне хана, где было темно, тесно и пахло пылью и старым ковром. Он сидел на подушке у стены. Писец устроился сбоку, с доской на коленях. У входа стоял Байрам.

Керим вошёл последним, сел справа от двери, спиной к камню, и за весь разговор не сменил позы ни разу.

Я рассказала всё по порядку: осмотр, признаки, чашка, листья, бурдюк. Не строила версий, не делала выводов, не говорила лишнего. Так пишут протокол: что видел, где нашёл, в каком состоянии.

Писец переводил. Хаджи Мустафа слушал, перебирая деревянные чётки, и щёлкал ими медленно, и на слове «бурдюк» перестал щёлкать.

Когда я закончила, он заговорил.

— Хаджи Мустафа говорит: Юнус был молодой и глупый. Он мог выпить воды, где кто-то мочил траву. Он мог съесть дурного мяса.

— От дурного мяса зрачки не расширяются.

Писец перевёл, и старик ответил длинно, и я поняла его раньше перевода — по интонации, по тому, как он развёл руками.

— Он говорит: он водит караваны тридцать лет. Если по дороге пойдёт слух, что в караване Хаджи Мустафы травят людей, то в Стамбуле его товар возьмут за полцены, а в следующий раз с ним не пойдёт ни один купец. Он говорит: человек умер, это горе, его похоронят с молитвой и заплатят его семье. Он говорит: больше про яд никто не скажет ни слова.

— Он потеряет не полцены. Он потеряет караван.

— Женщина, — сказал писец от себя, тихо. — Не надо.

— Переводи.

Он перевёл.

— В караване сорок три человека, — сказала я. — Убийца — один из них, и он ходит с нами, ест с нами и знает всё, что знаем мы. Он уже сделал два хода. Первый — в Алеппо, ножом, тихо, по тому, кто знал его в лицо. Второй — здесь, ядом, и на этот раз он не подходил к жертве вообще. Он учится. Третий ход будет ещё дальше от него самого, и мы его снова не увидим.

Чётки щёлкнули один раз.

— Хаджи Мустафа спрашивает: почему ты думаешь, что в Алеппо и здесь — один человек?

— Потому что оба раза убивали не того, кого хотели убрать по злобе, а того, кто мешал. Дауд был старший над охраной и знал своих людей в лицо. Он мешал провести в караван чужого. Его убрали накануне выхода — так, чтобы замену набирали второпях, у колодца, не приглядываясь. — Я посмотрела на Байрама. — Юнус не мешал никому. Юнус взял чужую воду.

В молельне стало тихо. Байрам у двери переступил с ноги на ногу, и под его весом скрипнул порог.

И тут заговорил Керим.

Он сказал всего одну фразу, по-итальянски, обращаясь ко мне через всю комнату, и голос у него был ровный, как утром в хане.

— Бурдюк висел слева или справа?

Я открыла рот и закрыла.

Вопрос был правильный. Не «чей бурдюк», не «сколько

там осталось», не «уверена ли ты» — эти вопросы задал бы любой. Он спросил про сторону.

Потому что выючное седло грузят с двух сторон и подходят к нему с одной. Потому что мулы Керима стояли вдоль стены, и правый бок был прижат к камню. Потому что к левому боку можно подойти на ходу, не останавливаясь, одним движением, за полсекунды, и со стороны не увидишь ничего, кроме прохожего у мула.

Он спросил про сторону, потому что уже знал, что бурдюк его, и уже просчитывал, как к нему подошли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.